

Тома была продавщицей. Не из тех, наспех состряпанных девяностыми из очкастых филологинь, громкоголосых учительниц и прочих дам с лопнувших НИИ и дышащих на ладан заводов, – о нет! Тома была продавщицей самой настоящей. В советские времена она даже окончила кишинёвский торговый техникум по специальности... да бог с ней, со специальностью, главное – окончила. И как только в её маленьких, но на удивление цепких ручках оказалась твёрдая, ещё пахнувшая типографской краской корочка диплома, юная Тома с головой погрузилась в мутные воды торговли.

Более опытные товарки быстро обучили её, как заработать на дефиците и как завести полезные связи. Науку двойного обмана доверчивых покупателей и ушлого начальства Тома осваивала постепенно и уже сама, вначале стыдливо прикрываясь фразой «надо же как-то жить», а потом и вовсе войдя во вкус. Правда, муж Васечка (к тому времени Тома успела выскочить замуж) жаловался, что её ночное бормотанье типа «не бейте меня, я всё отдам» мешает ему спать. Но Тома только отмахивалась – не брешу.

А вот девяностые, раздаривая направо и налево кооперативные киоски, французского происхождения бутики и высокомерно посматривающие чистенькими, будто вылизанными, стёклами магазины, Тому обошли стороной. Как раз тогда в самых что ни на есть муках родилась её ненаглядная Ирка. Поэтому время, отмеченное не только бутиками с довеском в виде бритоголовых братков, но и злобой, пенящей рты молдавских националистов, кровью, пролитой на бендерском мосту¹, истерией повальной еврейской иммиграции, для Тома навсегда пропиталось безгрешным запахом грудного молока.

¹ Бендерский мост* – речь идёт о вооружённом конфликте в Приднестровье (1992 г.)

Но ворошить прошлое Тома не любит. А если и канючила порой ненаглядная Ирка, ма, а какая я была маленькая, сразу обрывала – некогда мне, у отца спроси. И безотказный Васечка, неспешно перебирая губами, рассказывал и про самый первый многострадальный молочный зуб, и про ма-па, тоже первые, невнятные, с царственной важностью перенесшие весь шквал слюнявой родительской радости, и про многое другое. А непоседливая Ирка на удивление тихо сидела рядом, и только светлые глаза её задумчиво смотрели куда-то вдаль, Васечкины глаза.

На самом деле жизнь у Тома с тех пор мало изменилась. Она по-прежнему в продавщицах, также по-птичьему быстро вспархивает со стула, и звенит навстречу покупателям её фирменное «что желаете?». Правда, нет больше ни будто подсвеченной изнутри фарфоровой кожи, ни гибкой талии, к которой так и тянулись жадные до обладания мужские руки, ни аристократически тонких лодыжек. Что поделать – возраст.

Зато, словно в утешение, время наградило Тому пышной, как дрожжевой пирог, нет, как два дрожжевых пирога, грудью. В такую грудь хочется уткнуться и плакать, плакать, пока не выплачешь все беды мира. И Тома охотно подставляет её всем желающим мужского пола, никого не обижая невниманием, даже Васечку. Впрочем, тот сдобным прелестям жены всё чаще предпочитает стаканчик доброго домашнего вина. А Тома и не переживает, вот ещё, из-за Васечки переживать, у неё для переживаний Ирка имеется да вон работа, будь она неладна.

Работает Тома в парфюмерном бутике. Куда там скудным промтоварным отделам, в которых она когда-то начинала! Здесь всё поражает изобилием и роскошью. Все эти переливающиеся в лучах искусственного солнца изысканные флаконы, эти круглые, квадратные, большие и маленькие бутылочки, эти разноцветные коробочки, упакованные в раздражающе скрипящий целлофан, но без него нельзя, как же без него, не будет ведь никакого шика. А ласкающие слух названия, которые можно произносить только с придыханием и никак иначе?

Но главное, конечно, не это, и уж совсем не бутылочки-коробочки, а мускусные, цветочные, цитрусовые и ещё чёрт знает какие ароматы, волшебными джиннами притаившиеся внутри. Впрочем, как их ни прячь, наружу всё равно выбираются. Душистыми волнами носятся они по бутику, а потом и вовсе сливаются в единое умопомрачительно-пахучее облако, попадая в которое млеют и капризные покупатели, и восторженные продавщицы, и вообще все.

Одна Тома кривится – глаза бы не глядели, вернее, нос не чуял. Оно понятно: целыми днями талдычить про ноты сердца, ноты базы да всякие тренды-бренды. Ладно бы, покупали, а то спрашивают-спрашивают и уходят. Не покупатели, экскурсанты музея, прости господи. Ну ничего, дотянуть бы до весны, а там придётся что-то решать.

Решать можно было только одно – уезжать. Давно ли молдавская земля, благодатная, щедрая, могла обласкать и своих, и чужих, но только с тех пор многое изменилось. Вот и уезжают сейчас все кому не лень, кто на работу, а кто и вовсе на постоянку.

Постоянку Тома отмела сразу, поздно ей, да и боязно, а по поводу работы... Бывшая товарка, третий год подряд выносящая судно за выжившей из ума итальянской старухой, и, как все гастарбайтеры, мигом подсевшая на окультуренное, европейской выделки, счастье, звала Тому в Рим.

Обхаживать чужую старость Томе не хочется, но ненаглядную Ирку иначе не поднять. На Васечку рассчитывать нечего. Толку, что рукастый, а как пришёл смолоду на свой завод, так и застрял, и никакими пассатижами его оттуда не вытащить. А ведь уговаривали, оклад приличный обещали – упёрся, как баран. Не брошу, говорит, родной завод, и точка. Вот и жди, пока родной завод твою преданность оценит или хотя бы зарплату за прошедшие полгода выплатит.

Между тем подходило время обеда, а кроме уборщицы, едва скользнувшей по полу шваброй (а что, и так чисто), в бутик никто больше не заглядывал. Может, сглазили? Неприятные мурашки в испуге разбежались по телу.

Когда из бывшей пионерки-комсомолки Тома успела стать не то чтобы верующей, но суеверной уж точно, она и сама не знала. Только не менее старательно, чем в школьном актовом зале вслед за звонкой пионервожатой повторялось «перед лицом своих товарищей торжественно обещаю», теперь бормоталось «иже еси на небеси», причём бормоталось по любому, самому пустяковому, поводу – про не поминать всеу Тома, похоже, просто не слышала.

На этот раз одной молитвы показалось ей недостаточно. С трудом согнувшись из-за выпирающего валика живота, кряхтя и охая, Тома полезла в пыльный, заваленный разным хламом прилавок и извлекла на свет припасённую для таких случаев бутылочку со святой водой. Благословенные брызги щедро окропили бутик. Теперь торговля пойдёт, не может не пойти.

Но то ли вода была несвежей, а значит, не такой действенной, то ли по какой другой причине, только покупатели всё не появлялись.

Оставалось ещё одно средство, последнее. Правда, средство это одинаково не одобряли ни грозные хозяева бутиков, ни высокомерная администрация всего торгового центра, зато действовало оно безотказно.

Дело в том, что стоило выпить на работе стаканчик-другой водочки ли, винца, да и любого другого горячительного напитка, как клиент шёл косяком. Объяснить этот феномен продавщицы не то что не могли, даже не пытались, справедливо полагая, что важнее не объяснение, а конечный результат.

Оксанку с Лилькой, девчонок из бутика напротив, от нечего делать выщипывающих друг другу брови и рискующих в итоге остаться вообще без них, долго уговаривать не пришлось. Закуску решили купить здесь же, в центре, а вот беленькую – в магазинчике через дорогу, там дешевле.

Это же не просто так, а для дела, неизвестно перед кем оправдывалась Тома, шелестя по прилавку купленной ещё утром, но так и не прочитанной газетой. Уютно расположившиеся на газете коробочки с салатиками почти полностью закрыли статью о престарелой, но всё ещё неугомонной певице, которая... впрочем, это уж точно не важнее салатиков. Как и влажных от рассола близнецов-огурчиков – дружной семьёй устроились на тарелке – и от души нарезанного хлеба, на крупных белоснежных кусках которого застенчиво розовели соблазнительные колбасные кругляши.

Но то, ради чего всё затеяно, на прилавок не выставляется. Волшебным зельем льётся оно в пластиковые стаканчики, внизу, чуть ли не на полу, прячась не столько от усмехающегося с пониманием охранника, для верности подкупленного сложно-составным бутербродом, сколько от любопытных тёток из бухгалтерии (бегают туда-сюда, как чуют, заразы!), чтобы наконец очутиться в нетерпеливых руках продавщиц.

– Ну, за торговлю! Чтоб пришли и сразу всё купили! – по-деловому кратко говорит Тома и одним махом опрокидывает стаканчик в рот. Девчонки хоть и морщатся, но не отстают, уж очень хочется, чтоб всё так и было.

За первым стаканчиком галопом мчится второй, и уже никуда не торопясь, степенно шествует третий.

О закуске Тома с девчонками тоже не забывают. И только отдав должное и салатикам, и колбаске, одобрительно похру-

стев огурчиками – для магазинных очень даже ничего, сытые, расслабленные, заводят разговоры.

А поговорить всегда есть о чём, к примеру, о нерадивом правительстве, в котором сплошь одни ворюги, и им бы наши проблемы, или о последних платёжках за квартиру, вот и я говорю, проще сразу в гроб, да нет, какой гроб, хоронить сейчас так дорого. Неодобрительно поцокали языками на вконец распоясавшихся националистов и уже взяли было курс на пресловутую Италию, как подала голос молчавшая до сих пор Лилька.

Надо сказать, что Лилька вообще неравнодушна к Томиному бутику, вернее, не к самому бутику, а ко всем этим дремлющим по стеклянным полкам бутылочкам-коробочкам. Из особенно полюбившихся мысленно был даже составлен список, который всё удлинялся и удлинялся, уменьшая и без того низкие шансы завладеть ароматными сокровищами всеми сразу. Вот если бы чудо...

Но чудо явить себя не спешило, и Лильке оставалось только вздыхать. Да ещё с какой-то чуть ли не обидой поглядывать на Тому – неужели той действительно ничего не нравится, из парфюмерии, в смысле? Может, не в её отделе, а вообще.

Обижалась Лилька, как правило, молча, а тут вдруг не выдержала – спросила.

Ну и дурища, совсем голову потеряла от всех этих ивсенлоранов, шанелей и прочих гуччи, пожимает плечами Оксанка. Сказать бы что-то злое, едкое, да неохота, ещё и губы как-то странно отяжелели. Она не пьяная, нет, лишь самую малость.

Зато Тома, чья словоохотливость после нескольких стаканчиков обычно возрастала, с удовольствием откликнулась. Да, были одни, Кабаре назывались. Аромат группы шипровых, цветочных. Верхние ноты: пион, ландыш, роза; ноты сердца...

Дойдя до сердца, Тома запнулась и только многозначительно покачала головой. Потом, чуть прикрыв голубоватые, в тонких прожилках, веки, отчего её тёмные, почти чёрные глаза сделались сладострастно-томными – ну точь-в-точь как у красоток из гляцевых журналов – принялась рассказывать.

История была, конечно же, любовной. Девчонки слушали, раскрыв рты. А Тома, виртуозно вывязывая петли событий, имён, подробностей, плела затейливый словесный узор. И какая разница, что всё это от начала и до конца было полным враньём, – кому, в сущности, нужна эта скучная, ничем не примечательная правда? А вот почему, зачем в самом центре узора оказались ни в чём не повинные духи Кабаре (золотисто-красная с тон-

кой талией бутылочка, больше похожая на шахматного ферзя, чем на легкомысленную, взметнувшую юбками кафешантанную танцовщицу), остаётся только гадать. Может, чудилось в названии что-то нездешнее, какая-то иная жизнь, которую не знала и знать не могла обыкновенная продавщица, да только кто ж её разберёт, эту Тому...

Совсем скоро стало не до историй. То ли средство, наконец, подействовало, то ли по причинам более прозаического свойства – конец рабочего дня, пятница, и почему бы не побаловать себя после трудовой недели, – только сонные коридоры центра зашевелились, ожили, пошёл долгожданный покупатель.

Оксанка с Лилькой умчались к себе, а Тома отяжелевшей ланью заметалась по бутику. И вот уже сурового вида мужчина методично отсчитывает купюру за купюрой за сто миллилитров чего-то очень brutального, а гривастая девушка, что та лошадка копытом, нетерпеливо постукивает ухоженным ногтем возле широко разрекламированной паточно-сладкой новинки. Сейчас, сейчас.

Напрасно плакали майонезными слезами салатки, о которых как-то разом забылось. А когда, после прощальных реверансов с покупателями (благодарю за покупку – и вам спасибо, приходите ещё – обязательно), всё-таки вспомнилось, салатки выглядели так неаппетитно, что участь их была решена окончательно и бесповоротно – в мусор.

Но волшебное средство выливать нельзя, ни-ни, ни в коем случае, его надо допить. И Тома допила.

Тётки из бухгалтерии – вот ведь заразы! – понапридумывали потом всякого. Будто напилась Тома до такой степени, что стала приставать к зашедшему на свою беду в бутик покупателю. Когда мужчина деликатно попытался её урезонить, то был расстрелян на месте прицельной очередью неприличных (читай: матерных) слов. После чего Тома и вовсе впала в буйство – расколотила целую кучу бесценных бутылочек. И расплачиваться ей теперь за них до конца жизни.

Брехня, конечно. Ни к какому мужику Тома не приставала, разве в шутку, и разбила всего-навсего один флакон, да и то случайно. Но воняло, как от целой кучи, это да.

А потом Тому вообще увели. Перепуганные Оксанка с Лилькой вызвонили и Васечку, и ненаглядную Ирку, и те мигом примчались. Сутулый, с помятым лицом, Васечка и его улучшенная копия – ненаглядная Ирка. Заботливыми ангелами-хранителя-

ми подхватили они Тому под руки и повели. Но она всё-таки успела махнуть на прощанье пухлой, ещё в советском золоте, ручкой – пока, мол.

Пока-пока, Тома.

* * *

Не знаю, что меня поразило больше: то, что на месте дорогого парфюмерного бутика стояли теперь абсолютно голые, в неопрятных разводах, стены, или то, что вместе со всеми бутылочками-коробочками исчезла, испарилась забавная продавщица Тома. В любом случае, настроение моментально скисло позабытым на жару молоком.

Извините, вы не знаете...

Две молоденькие продавщицы из бутика напротив знали всё. Оказалось, парфюмерия съехала ещё три месяца назад, аренда дорогая, и вообще. Да вы не расстраивайтесь, у этой фирмы бутики по всему городу разбросаны. Хотели именно у Тома? Это невозможно.

Невозможно. Слово отозвалось гулким от одиночества тупиком (как насмешливо переглядываются помноженные на три окна!), а откуда-то, не иначе как из разлинованного автомобильного пространства, идеально-круглым фантомом выплыл строгий дорожный знак. Тот в красно-белом цвете молчаливо подтвердил, да, мол, проезда нет.

Только чего вдруг засуетились дурные предчувствия? Ясно же, что такие, как Тома, не созданы для трагедий, что трагедии, едва задев их рукавом чужой жизни, бегут себе дальше, искать кого-то более подходящего. Но предчувствия, знай, нагнетали: как же так, совсем ведь не старая, совсем не...

Нет-нет, ничего такого, словно прочитав мои мысли, успокоила одна из девушек. Просто Тома теперь в Италии. Как что делает, за старушками ухаживает, что же ещё.

...Путь к выходу из центра показался очень длинным, хотя и не длиннее дороги к изрезанному средиземноморскими волнами щеголеватому итальянскому сапожку. Почему-то подумалось, что Тома уже вовсе болтает по-итальянски. Да нет, вряд ли, разве что отдельные слова, все эти певучие «грация», «скузи», «мольто бене», «арриведерчи»...

Но скоро я про Тома забыла. И неудивительно – суетливый и шумный, меня подхватил, закружил город. Он мчался потока-

ми разноцветных машин, подмигивал расшалившимся светофором, дружелюбно вилял хвостом пробежавшей мимо собаки. Он был совсем неплохим, этот город, особенно сейчас, по весне.

А весна была повсюду. Будто надушенная самым прекрасным на свете парфюмом, весна благоухала ароматными вишнями и яблонями, ещё тянулась в небо стройными свечками каштанов, изо всех сил набирала липовый цвет, и была она неповторимо, невозможно хороша, уж поверьте мне на слово.

ПОД НАСТОЙЧИВОЙ КИСТЬЮ

Рассказ

– Ну что, приступим, – сказал Марк и шагнул к мольберту. И в решимости, что была написана на его лице, я прочитала собственный приговор.

...Всё началось с прикосновений, они будто задались целью вырвать меня из дрёмы, бывшей до этого моей единственной реальностью. Меня тормозили и тормозили. Потом отовсюду хлынул яркий свет, и мир открылся мне во всей своей пестроте и суете. Однако это не было полным пробуждением, ещё нет. Настоящее пробуждение наступило позже, когда, заслоняя мир, на меня надвинулось нечто. Через мгновение (знание необъяснимым образом вливалось вместе со светом) стало ясно: нечто – это лицо, точнее, лицо мужчины. Оно неприятно поразило меня. Трудно было представить что-то более несовершенное, чем эти хаотичные линии – они разбегались и сбегались, как им заблагорассудится, образуя углы и скосы назло всем законам гармонии. Смотреть на них не хотелось, и если бы у меня был выбор... Тем временем два чёрных влажных глаза внимательно изучали меня, а мясистые губы беззвучно шевелились. Было в этом шевелении что-то пугающее. А когда длинные узловатые пальцы потянулись ко мне, я, обречённое на неподвижность, внутренне сжалось. Он не мог этого знать (или почувствовал?), но рука повисла в воздухе, так и не дотронувшись до меня.

«Всё хорошо...»

Оказалось, я понимаю слова. Но не они рассеяли мои страхи – голос, низкий, густой, успокоил и одновременно заставил

трепетать. Удивительный голос! Он почти примирил с некрасивостью его обладателя. Впрочем, так ли он некрасив? В поисках ответа я вглядывалась в мужчину, попутно отмечая рассыпанные по плечам иссиня-чёрные волосы, атлетическую фигуру, которую не могла скрыть даже мешковатая одежда... Именно тогда я впервые ощутила наплыв своего пола. Что-то внутри меня откликнулось на несомненную мужественность обладателя голоса и, откликнувшись, качнулось в противоположную сторону. Рядом с таким плюсом я не могла стать ничем иным, кроме как минусом. А мужчина уже отвернулся от меня. «Всё хорошо, друзья, всё просто замечательно!» В ответ засмеялись, заплодировали, закричали на разные голоса: «Марк, ты молодец!», «Ура художнику!». Десятки рук с бокалами взлетели вверх, и льющийся с потолка свет раздробился в тонком стекле.

Неподвижная и безгласая, я только и могла, что смотреть. На мужчин с бесстрастными глазами, женщин с щедро накрашенными лицами. Казалось, все они исполняют какой-то замысловатый танец. Вот, меняясь друг с другом местами, они перемещаются по комнате. А то сбиваются в группы, и шелест одежды сменяется шуршанием голосов. Скоро я поняла главное: эти люди поклонялись успеху. Сегодня успех олицетворял Марк. Мужчины одобрительно хлопали его по плечу, женщины норовили на этом же плече повиснуть. Такова магия успеха – все хотят к нему прикоснуться, даже просто физически. Меня они не замечали. Лишь однажды чей-то перекошенный рот обронил непонятную фразу. «Силки для новой птички», – прозвучало это или что другое, я не знаю, но я ещё долго чувствовала на себе липкий взгляд. И, конечно, Марк – тот, беседуя с одним из гостей (обтянутая пиджаком мощная спина, голый, в световых бликах затылок), всё поглядывал в мою сторону, и потаённая мысль, что плескалась в глубине тёмных зрачков, странно волновала. Но выловить её не было никакой возможности, оставалось лишь надеяться, что всё прояснится само, а пока...

Они были здесь повсюду. Мы смотрели друг на друга, так смотрят кровные родственники, машинально отмечая разницу и – удивлённо-благодарно – общность. Я должна была казаться им младшей сестрой, несмышлёнышем, у которого всё впереди, тогда как они... Отработанный материал? Любимое выражение Марка. Он часто повторял его, пытаясь отгородиться от чужого назойливого любопытства. Но это я узнаю потом, а пока я вглядываюсь в картины, пытаюсь разгадать тайну – их, Марка, свою?..

Большинство из них были женскими портретами. Были ли они хороши, я не знаю. Слух мой обострился, я без труда улавливала восторженные слова – перезрелыми плодами те легко слетали с человеческих губ. Подобная лёгкость настораживала, не часть ли это давно и хорошо отработанного ритуала. Что касается меня, я быстро соскучилась от этого пиршества профилей и локонов. Но были другие картины, они и привлекли моё внимание. Три из них висели на стене как раз напротив меня, поэтому и запомнились в мельчайших подробностях.

Первая была премилой пасторалью: окаймлённая деревьями лужайка, на ней пастушка – та плела венки из полевых маков, – и пастушок, чей взгляд не отрывался от нежного девичьего лица. У ног пастушка замер кудлатый пёс, а любимица-овечка жалась к пышным юбкам своей хозяйки. Можно ли представить себе более умиротворённую сцену? Но чем дольше я смотрела, тем тревожнее мне становилось. Повинен ли в этом недобрый блеск в глазах пастушка, кривая ухмылка, что больше подошла бы сладострастному сатиру, разбойнику с большой дороги, но уж никак не влюблённому юноше? И какие громадные клыки у его собаки! А пастушка с овечкой так схожи в своей незащитности... Даже маки, и те, казалось, предвещали беду, полыхая так ярко, так кроваво.

Вторая картина – балкон старинного особняка. На балконе флиртующая пара: великолепные бакенбарды, белоснежная пена жабо с одной стороны, золотые букли, безупречный фарфор лица и плеч с другой. Ещё веер, трепещущий затейливой бабочкой в тонких, изящных пальчиках. Тот на своём немом языке красноречиво намекал на... любовь? Но взгляды скрестились острыми кинжалами, и не было в них ничего, кроме стали и холода. Неудивительно, что один из атлантов, чьи мраморные руки, вздуваясь жилами, держали балкон, гневно нахмурился. А мускулистый торс изогнулся таким образом, будто его хозяин вот-вот спрыгнет с пьедестала – стоит ли удерживать мир, в котором нет настоящего, живого чувства...

И, наконец, третья. На убогой постели лежит старик. Истончённое болезнью тело почти полностью накрыто простынёй, снаружи только лицо и ступни ног. Но если в искажённом от боли лице ещё пульсирует жизнь, то восковые ступни скорее говорят о том, что все земные дороги позади. На эти ступни и уставился мальчик, судя по сходству, внук старика, и взгляд его, полный не жалости, нет, но жадного любопытства, смотрелся чуть ли не непристойно.

Забыла упомянуть: все мужские персонажи на этих трёх картинах были похожи на своего создателя. Это его ухмылка кривила лицо псевдопастушка, и его глаза мерцали холодом со второй картины. Да и старик с мальчиком, оба они напоминали Марка, с поправкой на возраст, конечно. Что это, случайность, авторский замысел? Я так долго всматривалась, что стала видеть даже то, чего, возможно, и не было вовсе: например, два женских персонажа, пастушка и светская кокетка, уже казались мне схожими между собой. Картины мучили меня, не давали покоя, и я испытала облегчение, когда Марк составил их в угол, отвернув к стене. Он вообще стал очень деятелен: всё ходил по комнате, что-то куда-то запихивал, переставлял с места на место. Меня он выдвинул на самую середину комнаты, там, залитая светом, я и стояла, ожидая неизвестно чего – судьбы?..

А потом появилась Нора.

К тому времени я успела привыкнуть к Марку, неправильность черт больше не пугала меня, наоборот – глядя на него, я получала неизъяснимое удовольствие. На таком фоне тихая ненавязчивая гармония лица Норы казалась чуть ли не изъясном. Хороши были волосы, струящиеся по плечам каштановыми прядями. Но всему её облику не хватало чего-то главного, может, яркого мазка. Явно стесняясь собственной фигуры, Нора держала на весу перед собой руки – прикрывала полноватое тело. И говорила, говорила, про портрет (причуда мужа), про своё нежелание позировать. «А это долго? Бедная моя спина...» С виноватой улыбкой она развела руки в стороны, на мгновение став крылатой. Тут бы мне и разглядеть её – но нет! Крылья обмякли, а сама Нора очутилась сбоку от меня – туда, к стулу, её незаметно подпихивал Марк, – теперь я отчётливо слышала её дыхание. Почему-то казалось, что это дышу я сама.

Что послужило толчком, одно на двоих дыхание, нацеленная на меня длинная тонкая кисть в руке Марка, – я не знаю. Только всё вдруг сошлось в одной точке: непонятная фраза, странный взгляд Марка, упоминание про портрет... Так и есть, мне суждено стать двойником Норы! Чувство, которое я испытала, было похоже на сожаление. Словно меня лишили выбора. Хотя его и так не было, но сейчас это стало очевидным. Поэтому каждое прикосновение кисти я встречала внутренним протестом. Неподвижность моя при этом оставалась неизменной, но у Марка всё равно ничего не получалось. Наконец, он сдался. «Не возражаете, если я закурю?» – спросил он у Норы. Та не

возражала, мало того, сама попросила сигарету. И вот мы трое уже окутаны дымным облаком, линии смягчены, очертания размыты. Теперь-то я понимаю: судьба настойчиво намекала на переплетение наших жизней, но тогда... кто мог прочесть её знаки, кто вообще может...

Но возвращаясь к Норе – догадывалась ли она о нашем с Марком противостоянии? Во время сеансов Марк был сдержан и улыбочив. Но стоило Норе уйти, как выражение его лица менялось. Растерянность, недоумение, недовольство, даже ярость. Однажды Марк так разозлился, что отшвырнул от себя ни в чём не повинную кисть. Окропленный краской пол мгновенно стал веснушчатым. Я сказала, что в присутствии Норы Марк был сдержан. Да, но не взгляд. Этот не признавал никаких ограничений и запретов. Однако не было в нём ни намёка на мужское вождество, так можно смотреть на сложный механизм в попытке разобраться, что и как устроено. Не вина Марка, если его взгляд, сам того не желая, пробуждал женскую чувственность. Кстати сказать, женское воркование не единожды доносилось до меня откуда-то издалека (об истинных размерах мастерской я могла только догадываться).

Хотя кое о чём (не о женщинах, но о нас с Марком) Нора всё-таки подозревала, недаром вспомнила то стихотворение. Она читала его медленно, нанизывая на нитку ритма бусины-слова. Слова находились не сразу: раскатились по закоулкам памяти, – и Нора, пытаясь отыскать нужное, снова и снова возвращалась к началу. От такого круговорота в памяти моей всё перемешалось, остались лишь отдельные строки. А начиналось стихотворение так: «Под настойчивой кистью приходится быть равнодушной». Рассказ вёлся от лица полотна, которое, как и я, превращалось в картину. О качестве стиха судить не берусь, но мысли, эмоции – всё было мне знакомо. И горькая ирония – «С полотном церемониться? Вот ещё – кто я такая!» – и обида, что стекала по каплям, «нарушая рисунок и цвет то ли грёз, то ли снов»... Только образ художника – безумца, садиста? – показался мне слишком утрированным. Как всё, изображённое только одной краской. А потом я услышала концовку и... Сострадание, жалость – я знала значение этих слов, но впервые испытывала нечто подобное. Как же я удивилась, услышав смех Марка.

– Это написала женщина, – проговорил он уже спокойно, но морщинки в уголках глаз продолжали досмеиваться. – Только женщины из ничего умудряются сделать трагедию. И вообще, вы уверены, что речь идёт о картине?

А о чём? Жаль, что я не могу говорить.

Зато это могла делать Нора, и я даже не представляла себе... Но всё по порядку.

– Расскажи что-нибудь, – фраза, небрежно брошенная Марком во время одного из сеансов, меня возмутила. Не знаю, что меня покорило больше: неизвестно откуда взявшееся фамильярное тыканье или это «что-нибудь». Как будто можно вот так, по заказу. Однако Нора и вида не подала, просто стала рассказывать. Хотя я не назвала бы это рассказом, скорее картинами, написанными при помощи слов. Но в отличие от картин Марка с их безрадостным сумраком эти искрились светом. Герои вызывали симпатию, будь то уличный музыкант, так артистично откидывающий со лба чёлку, что хотелось одарить его только за это (слова Норы), или крикливая, пропитанная летним зноем торговка виноградом. Толстые пальцы этой последней, все в тёмно-лиловых пятнах, невольно притягивали к себе внимание. Чернила? Ах, вы уже не в том возрасте. А ведь не скажешь.

В какой-то момент Нора оказалась передо мной, и я, наконец, разглядела её настоящую. Тёплые волнующие глаза, губы, что трепетали лепестками на ветру, тогда как прежде смотрелись наглухо закрытыми створками, и вся она – натянутая струна, с которой звучал гимн жизни. Вот чего ей не хватало, запоздало поняла я. Какими же пресными по сравнению с этой нынешней Норой выглядели женщины на портретах Марка (да простят меня мои товарки-картины)! Всё-таки хорошо, что мне суждено стать ею, а не какой-нибудь приторно-зефирной мордашкой.

Марк, тот тоже смотрел не отрываясь. Марк, Марк, мы оба с тобой были слепы!

А Нора уже спешила дальше, перемещаясь по странам, городам. Некоторые места казались мне смутно знакомыми, например, тот город. Изысканно-серый, он дремал на берегу залива. Покатые от времени ступени лестниц, словно измученные жаждой путники, стремились к лениво плещущейся воде, а увенчанные крестами храмы в не меньшей жажде тянулись к небу. И только статуи стыдливо прятали свою мраморную наготу в зелени парков. Этот город тревожил меня, как тревожит всё однажды незавершённое, внезапно прерванный разговор, встреча без продолжения. Может, это просыпалась моя память? Ведь до того, как стать натянутой на мольберт тканью, была же я чем-то – травой, проросшей из пустых глазниц выбеленного

временем черепа, комком земли, из которой всё произрастает и в которую возвращается... Но почему я так быстро стала понимать человеческую речь, больше того – почему мне так близки и понятны человеческие мысли и чувства? А знания, которые неожиданно обнаруживали себя безо всяких усилий с моей стороны... Я не знаю, куда завёл бы меня путь из догадок и домыслов, но Нора замолчала, наваждение закончилось.

«Мне пора». Лицо, ещё недавно озарённое светом, сейчас будто угасло, но это уже не имело никакого значения.

– Вы ведь придёте завтра? – спросил Марк, опять перейдя на «вы». Всё лишнее, наносное, маска, которую он натягивал на себя по привычке или в угоду светской публике, слетела с него. С надеждой и страхом – вдруг не придёт? – он заглядывал Норе в глаза, и такая просительная интонация была в его голосе... «Да», – прозвучал ответ.

Любовь накрыла их, как ливень покрывает город. А я, что испытывала при этом я? Странно, но моя женская суть, пусть и закованная в рамки холста, оказалась неожиданно восприимчива к вопросам... гм... физиологии. В одиночестве Марк часто снимал с себя одежду, нагота давала ему ощущение свободы, в которой он так нуждался. Его тело, напряжённость спины, чётко прорисованные жилы на руках и шее, мышцы, что перекачивались под смуглой кожей подобно извивающейся под водой змее, – всё это было так близко от меня. Возбуждение накатывало, не находя выхода. Как же я завидовала Норе, она могла насладиться этим прекрасным телом, тогда как мне доставалось немного: голос, взгляды, осторожные прикосновения. Но ревности во мне не было. С каждым новым мазком кисти я всё больше превращалась в Нору, видеть этого я не могла, просто знала, чувствовала. Я смотрела на Марка её глазами, улыбалась её улыбкой. А когда губы её сливались с губами Марка, я словно ощущала вкус... Как могла я ревновать к самой себе!

Мы втроём были неразделимы, во всех смыслах. Я казалась себе то ребёнком, плодом любви Марка и Норы, то ангелом-хранителем обезумевших от страсти любовников. Но было ещё одно, непонятно откуда взявшееся знание: однажды мы уже были связаны друг с другом. Когда – не знаю, но в той реальности я наверняка была человеком. Почему мы опять вместе, путь не был пройден до конца? Хотя какое это сейчас имело значение, сумеем ли мы воспользоваться новым шансом, вот что меня беспокоило. Сумеют ли эти двое! Пока страсть толкает

их друг к другу, я могу быть спокойна, но что если... При мысли об этом «если» я затрепетала.

– Она движется! – воскликнул Марк. Кисть в его руке удивлённо замерла. Не желая выдавать себя, застыла и я. Впрочем, у меня не было никакой уверенности, что через мгновение это не повторится. Меня спасла Нора. «Это просто усталость...» Голос был нежен, ласка успокаивала. Слова возражения замерли у Марка на губах. Ласка стала настойчивей, вскоре эти двое уже скрылись в глубине мастерской, откуда послышались... Впрочем, неважно. Однако сделанное Марком открытие меня поразило: неужели я могу двигаться, я, так страдавшая от собственной неподвижности! Но от чего это зависит? Я попыталась шевельнуться – безуспешно. Значит, одного моего желания недостаточно, должна быть какая-то причина, её мне и предстояло выяснить.

Я наблюдала за своими ощущениями с педантичностью учёного, поставившего эксперимент на собственном теле. Но прошло время, прежде чем это повторилось. В тот день Марк с Норой поссорились (размолвки между ними происходили всё чаще, увы). Марк сказал что-то резкое, настолько резкое, что Нора в обиде выбежала из комнаты. Марк бросился её догонять. Наверно, я инстинктивно дёрнулась следом, и чуть было не рухнула вниз вместе с мольбертом, в последний момент еле удержала равновесие. Только позже, уже успокоившись, я смогла всё проанализировать. Вот что я поняла: моя новообретённая способность напрямую зависела от моих переживаний, и чем сильнее эмоциональный всплеск... Но что мне теперь с этим умением делать? Представилось, как переступая тонкими ногами мольберта, я выхожу на улицу. И мир, который до этого был лишь звуками, скупыми красками в окне, наконец вижу воочию. Спутанные, будто со сна, гривы деревьев, бегущие разноцветными машинами дороги, ослепительный мяч солнца, закинутый в небо чьей-то атлетической рукой да так там и оставшийся... Невозможно.

Между тем я с каждым днём хорошела. Другие картины, прежде смотревшие на меня свысока, теперь признавали во мне равную. Марк, тот хоть и придирался по привычке, но тоже казался довольным. А уж восхищению Нору не было предела. «Это лучшая твоя работа!» – не уставала она повторять. Но откуда этот испуг в её глазах? Предчувствовала, что плата за красоту окажется непомерно высока (любовь)? Последнее время Нора вообще выглядела какой-то подавленной. Едва размыкая

губы, сухо сообщила, что муж обо всё догадывается. Бедная Нора, представляю, как измучила её эта двусмысленная ситуация, как претила её честной натуре. Не знаю, слышал ли сказанное Марк, только он вдруг заговорил о свободе. Он вообще часто о ней говорил, причём, с таким выражением, что само слово «свобода» звучало у него с заглавной буквы. «Настоящий творец должен быть свободен!» В подтверждение этой мысли – кстати, не особенно оригинальной – Марк приводил цитаты каких-то людей (подозреваю, они давно умерли, так что он ничем не рисковал), факты из чужой жизни... В какой-то момент, спохватившись, что наговорил лишнего, и желая загладить собственную то ли бестактность, то ли жестокость, Марк становился удивительно нежен. Под влиянием всё той же нежности даже заикнулся о том, что вот пройдёт выставка (он собирался выставлять свои работы), и тогда... Закончить фразу он не смог – закашлялся.

Неудивительно, что однажды Нора просто не пришла. В тот день мы прождали её до вечера. Марк не отходил от мольберта. Писать не писал – не было настроения, всё старался найти себе какое-то занятие. Курил. А то вдруг стал выуживать из карманов скопившийся там хлам: какие-то бумажки, записки. И долго, с упоением разрывал на мелкие клочки, после чего запихнул всё это в пепельницу. Марк часто бросал туда всякий мусор, Нора всегда его за это ругала. Говорила, незачем искушать судьбу. (Интересно, что она имела в виду?) Теперь ругать было некому, свобода, не этого ли он добивался. Я же старалась не смотреть в сторону пустого стула, но всё равно помнила о нём, и эта пустота ощущалась мной, как сквозная дыра в собственном теле.

Скоро Марк вообще утратил ко мне интерес. Правда, и портрет был закончен, но после такого внимания одиночество показалось мне пыткой. И хотя вокруг были картины, я слишком привыкла к человеческой речи, чтобы их молчаливое сочувствие могло стать равнозначной заменой. Постепенно я впала в странное состояние. словно вернулись те времена, когда, лишённая чувств, мыслей, мучительного ощущения пола, я была непроявленным нечто. Непроявленным, с человеческой точки зрения. На самом же деле была энергия, много энергий, они плавно перетекали друг в друга. И ещё – ощущение абсолютного покоя. Но посещали меня и вполне земные видения: я видела Марка, Нору, чокаясь пузатыми бокалами, они счастливо смеялись. Другой раз на меня надвинулись чьи-то глаза. Я знала их – не могла не знать! – и всё-таки не узнавала, так

они были мрачны. Сделав над собой усилие, я заглянула в этот мрак: там, на самой глубине, ворочалась громадная, как гигантская рыба, печаль. «Я не гожусь на роль мужа, ты же понимаешь...» Слова прошелестели чуть слышно. Да нет, почудилось.

К реальности меня вернул дуэт из мужских голосов. Я сразу узнала роскошный бархат Марка. Но второй голос был мне незнаком. Впрочем, он тоже был неплох: уступая в богатстве тембра, он восполнял это мощным нижним регистром, и когда он говорил, всё вокруг вибрировало. А вот и его обладатель. Мужчина смотрел на меня с таким непередаваемым выражением, что мне стало неловко. Почему-то я сразу поняла, кто это. Я представляла его разным: то брутального вида усачом, то сублильным очкариком, короче, не самым приятным типом. И, конечно, не ожидала, что он мне понравится. Крупная, без растительности голова, умные глаза, крепкий мужской подбородок. Ростом мужчина был ниже Марка, но ощущалась в нём недюжинная сила. Видимо, он привык её сдерживать, движения его были мягкими, слишком мягкими для такого мощного тела. Я прослушала его имя, но я в нём и не нуждалась, зачем, в моём внутреннем пространстве он давно существовал, как муж Норы, этого было достаточно.

Кстати, деньги за портрет – увесистую пачку купюр – он небрежно бросил на тот самый стул, на котором во время сеансов всегда сидела его жена. Мужчина об этом не догадывался, но жест от этого не стал менее пошлым. Марк автоматически проследил за рукой взглядом, но я видела, мысли его заняты другим. Его заботила предстоящая выставка. И в связи с этим он хотел попросить уважаемого гостя, чтобы тот... чтобы портрет его жены...

– Нет, – голос звучал ровно, но было ясно: своего решения мужчина не изменит. Марк начал уговаривать. Но я знала, надолго его не хватит, и даже не удивилась, когда, оборвав себя на полуслове, он смолк. Эти двое застыли друг напротив друга каменными утёсами. А ещё они любили одну и ту же женщину. Мне вдруг стало страшно. В воображении возникло протянувшееся до самого горизонта поле, на нём две враждующие армии. Мгновение – и они сойдутся в смертельной схватке. Повторюсь, мне стало страшно. Наверное, мужчины что-то почувствовали: не сговариваясь, они одновременно посмотрели на меня. Нет, не на меня – на Нору! Что они прочитали в её взгляде, я не узнаю никогда, только лица их прояснились, позы стали менее напряжёнными.

– Хорошо, но только на один день, – негромко сказал муж Нору, после чего развернулся и пошёл к выходу. Глядя вслед удаляющейся спине, я вдруг вспомнила, и её, и этот затылок. Это случилось в первый день моего так называемого пробуждения. Люди, много людей. Рядом с Марком какой-то мужчина, он стоит ко мне спиной, и Марк поглядывает на меня поверх его гладкой безволосой головы. Норин муж, значит, это был он. Тогда же они и договорились о портрете. Обнаруженная взаимосвязь меня взволновала. Как всё переплетено в этом мире, причины, следствия... Впрочем, для самоуспокоения всё можно свести к простой схеме: мужчина, женщина, портрет в качестве подарка, художник, он же любовник, – обычная жизнь.

Потом была выставка. Мне казалось, про тот день я могу рассказать всё от начала и до конца. Как же я удивилась, обнаружив в памяти неожиданные пробелы! Я отлично помнила, как Марк наряжал меня в раму цвета усталой бронзы, и я совсем по-женски вдруг засомневалась, идёт ли мне этот цвет, не старит ли. Но как я оказалась в том зале – сияющие люстры, фигурные колонны, натёртый до блеска паркет, – не помню вовсе. Ещё были большие, почти в пол, окна. В одно из них, любопытствуя, заглядывал симпатичный, весь в каменных завитках дом. В обрамлении оконной рамы он смотрелся совсем как картина, лучше многих в этом зале. Но вскоре я о нём забыла, переключилась на людскую толпу. Она же, будто стараясь поразить, демонстрировала то смешливую молодость, то сдержанную зрелость, то тщательно напудренную, снисходительную старость. Вдалеке мелькнула высокая фигура Марка. Рядом с ним была какая-то женщина в классическом чёрном – Нора? Толпа заслонила их прежде, чем я успела рассмотреть. Но пока я наблюдала за людьми, те, в свою очередь, смотрели на меня. И шептали, шептали про настоящую, не зализано-открыточную нежность, про удивительный свет... «А вы знаете, что она, что они... неужели не слышали...» Я только равнодушно улыбалась Нориными губами.

Я всё ещё искала в толпе Марка и Нору, как вдруг обнаружила этих двоих прямо перед собой. Марк в костюме выглядел безупречно, причем, он всегда был хорош, но как же восхитительно была Нора! Высокая причёска открывала грациозную шею, строгий футляр платья делал фигуру стройнее. Вот только лицо... все краски словно покинули его, сосредоточившись в пульсирующем на груди кроваво-красном кулоне. Марк и Нора.

Как бы мне хотелось увидеть их улыбающимися, даже спорящими! Но ничего этого не было: они стояли и молча смотрели на меня. «Насмотришься ещё», – криво усмехаясь, сказал Норин муж, внезапно появляясь рядом. Я сразу возненавидела его за эту усмешку, но больше за то, что, взяв Нору под руку, он уводил её от нас. Будто дожидаясь этого самого момента, заистерила скрипка, глухо заворчала виолончель. Тоскуя, я вспомнила о доме – как он там? Но за окном была только густая, как кофейная гуща, ночь.

...Мы снова в мастерской. Мы – это Марк и я. Картин нет, часть из них осталась на выставке, другие давно разобрали предыдущие заказчики. Издалека до меня доносятся шаги Марка: он кружит и кружит по мастерской. Иногда он заходит ко мне, и я вижу его растерянное лицо. Будто никак не может поверить в случившееся. Благо, весь трагизм ситуации ему недоступен. А ведь развязка нашей общей истории опять отодвинулась на неопределённый срок, возможно, на века. При этой мысли я содрогнулась – словно заглянула в бездонную пропасть.

«Насмотришься...» В таком контексте слова Нориного мужа звучали зловещим пророчеством. Хотя мужчина говорил совсем не об этом. Впрочем, его словам, в их первоначальном значении, я всё равно не поверила. Он ведь не сумасшедший держать у себя дома портрет жены, зная все подробности. Скорее всего, я окажусь в какой-нибудь галерее. Представилась длинная, как кишка, комната, увешанная полусонными картинами. За каждой потускневшим от времени шлейфом тянется своя собственная история, в которой правда и вымысел так перепутались, что сама хозяйка не в силах отличить одно от другого. Неужели мне суждено стать одной из них, беспамятной, ко всему равнодушной, засиженной мухами? Мухи. Почему-то эти безобидные, в общем, создания вызвали у меня приступ брезгливого отвращения. Но о какой ерунде я думаю, мне ведь предстоит расстаться с Марком!

Расстаться с Марком – невозможно. В поисках выхода мысли мои лихорадочно заметались. Я придумывала вариант за вариантом и тут же отбрасывала их за негодностью. Ах да, я же могу двигаться! Если, конечно, можно назвать движением единственный рывок, а ведь это всё, на что я была способна. Кроме того, я совершенно не понимала, как это использовать. Но в тот самый момент, когда я почти отчаялась, я вдруг вспомнила стихотворение, которое читала Нора. Рецепт был так потрясающе прост, даже странно, почему я не подумала об этом раньше.

«И надеюсь на случай: сигара, неловкость и дым...»

Я повторяла строку снова и снова, пять раз, десять, сто. Это сработает, не может не сработать. В конце концов, я так неистово поверила, что даже не удивилась, когда Марк, зайдя в комнату, не вышел, как обычно, сразу, а сел напротив меня и закурил. Курил он долго. Раньше я отмечала бы каждое движение, поворот головы, взгляд, но не сейчас: нервное возбуждение было настолько сильным, я еле сдерживала себя, чтобы не дёрнуться раньше времени. Наконец он докурил и вышел из комнаты. И, конечно, не потушил сигарету, отчего мусор в пепельнице (Марку и в голову не пришло его выбросить) радостно вспыхнул. Я смотрела на огонь, мигающий маяком в ночи, и понимала, что пора решаться. В этот момент силы чуть не покинули меня. Неужели я боюсь, но чего, ведь смерть – это иллюзия, всего лишь переход. Тем временем, перебирая красными, оранжевыми, жёлтыми лепестками, огонь рос. Он стал похож на яркий экзотический цветок. В самом центре цветка я вдруг увидела лицо Марка. Он так смотрел на меня, будто звал. Ни в чём больше не сомневаясь, я качнулась ему навстречу.

УЛИЦА ЧКАЛОВА

Рассказ

Лето, жара и эта улица, заросшая одноэтажными домами, что сорной травой... Впрочем, трава тоже была. Тонкие зелёные стебли пробивались сквозь асфальт (не от этого ли он пошёл трещинами?) и тянулись вверх. словно хотели что-то кому-то доказать. Или не хотели, просто у них не было выбора.

У меня с выбором тоже не сложилось. «Ты сходишь со мной?» – спросила Лилька по телефону. Вопросительной интонации не вышло – привычка командовать взяла своё. Вроде как Лилька уже всё решила, а меня просто поставила в известность: ты сходишь.

И вот мы плетёмся по пыльному неровному асфальту, осторожно переставляя ноги, останавливаясь лишь для того, чтобы вытряхнуть из босоножек случайно закатившиеся туда камешки.

Лилька злится, к ней камешки попадают чаще. И пока она трясёт ногами и почему-то головой, я впитываю в себя всё: без-

упречную лазурь неба, рябые от ягод дерева, сомлевшего в тени забора кота, золотистый в обрамлении белёсых ресниц ромашковый глаз и крохотных красно-чёрных солдатиков, застывших в любовном соитии прямо у меня под ногами.

Только людей нет, будто вымерли все. Лишь однажды в одном из окон дёрнулась кружевная занавеска, и я почувствовала, как меня ощупывают взглядом. Да пёс неподалёку зашёлся лаем, нет, даже не лаем – надсадным кашлем. И тотчас смолк, усмирённый кем-то невидимым.

Странная это была улица, сонная, как стоячая вода. Совсем не похожа на городскую. И по чьей безумной прихоти её нарекли именем знаменитого лётчика, который уж никак не отличался спокойным нравом? Поражало и другое: как, каким образом в разгар непримиримой борьбы со всем советским это название сохранилось? На фасаде одного из домов даже была табличка. Неказистая, проржавевшая, зато по-русски. Удивительно – правда, Лиль?..

В ответ Лилька неопределённо дёрнула плечом. И вперёд пошла. Переступив через солдатиков (плодитесь и размножайтесь, аминь), я двинулась следом.

Лилька вовсе не равнодушная, просто не умеет раздваиваться. Сейчас все её мысли направлены в сторону собственного брака, который разваливался на глазах. Лильку этот факт не столько удручал – хотя и это тоже, – сколько озадачивал. Казалось, она никак не может поверить в происходящее, что, впрочем, не мешало ей вкусно, с пафосом страдать.

Но Лилькиным коньком всё-таки было действие. Вот мы и шли по этой улице и, судя по нумерации домов, уже приближались к цели.

Гадалка Катя оказалась крашеной блондинкой с одутловатым лицом. Она встретила нас, вытирая руки полотенцем, и при виде этого полотенца, сероватого, несвежего, Лилька выразительно посмотрела на меня.

«Что мы здесь делаем?» Я только плечами пожала: сама захотела...

Вслед за Катей мы зашли в очень просто меблированную комнату: пара стульев, продавленный диван, стол. Занавески в такой комнате смотрелись неоправданной роскошью. Лишь колода карт на столе красноречиво намекала на род занятий хозяйки.

– По одной... вместе нельзя, – почему-то сердито (почувствовала наше с Лилькой недоверие?) сказала Катя и взялась за

карты. Последнее, что я увидела, закрывая за собой дверь, был растерянный Лилькин взгляд.

Сколько я простояла в длинном, узком, как кишка, коридоре, не знаю. Полчаса, час, целую жизнь?.. Время, замедлив ход ещё на улице, здесь окончательно остановилось, повиснув вместе с пауком на невесомой, едва заметной глазу, паутинке. Казалось, качни этот живой маятник, и время двинется по своему привычному пути: тик-так, тик-так. Я бы и качнула, если бы не Лилька.

– Иди скорее!

Жадным взглядом я окинула Лилькино лицо. Что я ожидала на нём увидеть, следы каких откровений? Но ничего не было, только румянец, которым Лилькины щёки заливались по поводу и без.

Успокоенная (или разочарованная?), я вошла в комнату.

... Карты летали, как птицы перед дождём, шумно и стремительно. Не торопись, Катя, я вовсе не уверена, что хочу знать...

Прочитала ли та мои мысли, бог знает. Только вдруг одним резким движением Катя смешала уже разложенные на столе карты и уставилась на меня. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, и тут...

Её можно было бы назвать молодой, если бы не глаза. Мрачные, как самая глухая ночь, они видели слишком много. А за спиной... сколько же дорог было за её спиной! Они петляли, переплетались, спешили куда-то, а ей уже ничего не хотелось, ни власти, ни знаний, ни любви. Покоя бы. А он всё не давался... которую жизнь подряд...

Потом я очнулась. Передо мной сидела прежняя Катя. Глаза её были закрыты.

«Уходи».

Кто это сказал? Может, ветер, что незаметно пробрался в комнату и теперь трепал ни в чём не повинные занавески? Я не знаю.

...Улица была всё такая же неоживлённая, но выглядела по-другому. Буйно зазеленели деревья, заборы оказались вызывающе разноцветными, а стайка блёклых нарциссов обрела белоснежное оперение. Словно мир за время нашего с Лилькой в нём отсутствия удивительно похорошел.

Я подняла голову: в вышине виртуозным росчерком белел след от недавно пролетевшего самолёта.

«Чкалов», – подумала я и невесело усмехнулась. Мистики на сегодня было достаточно.

И тут заговорила молчавшая до сих пор Лилька.

– Катя сказала, он мне изменяет – представляешь?

Я представляла это, как никто другой. Стоило закрыть глаза, как на меня наплывало ритмично покачивающееся лицо, влажный, в бисеринах пота лоб и губы, с которых одинаково легко слетали слова любви и пустые обещания, и которые хотелось зацеловать до смерти, его, моей – неважно.

– Как ты думаешь, он меня любит?..

«Ненавижу! Эту её узколобость, категоричность, вечную тягу поучать...»

Слова, слова. Светленькая болтушка Лилька и задумчивая темноволосая я, мы были как день и ночь, как Солнце и Луна, и обе были ему необходимы. Или не нужны вовсе. Уже скоро наш любовный треугольник распадётся, и мы все разбежимся в разные стороны. А улицу всё-таки переименуют, но это будет потом. А пока она тянется и тянется к горизонту, видимо, надеясь там, вдалеке, влиться в небесную синь. Думаю, однажды это получится.